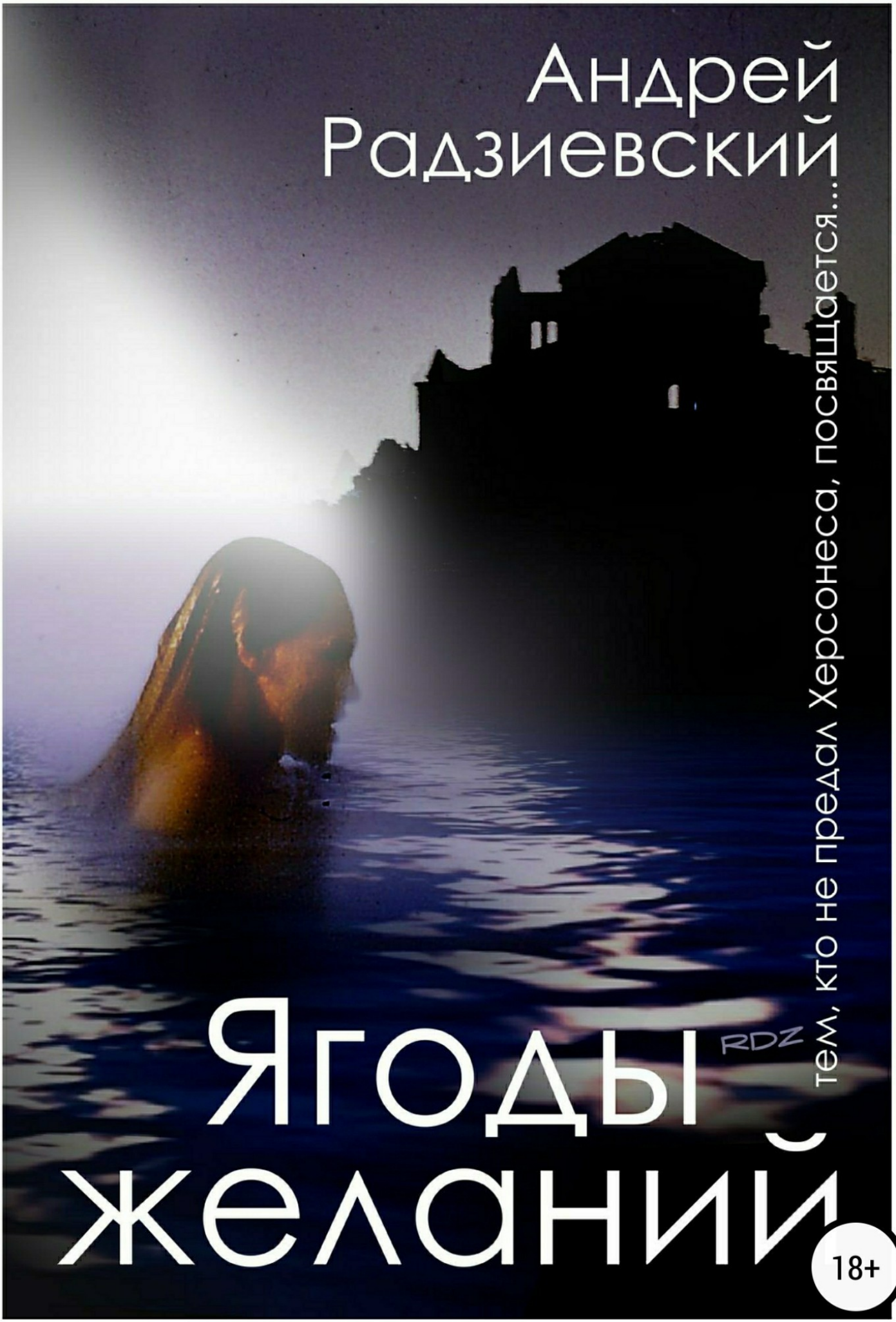

Андрей
Радзиевский
тем, кто не предал Херсонеса, посвящается...
RDZ
Ягоды
желаний
18+

Андрей Радзиевский

Ягоды желаний

«ЛитРес: Самиздат»

1992

Радзиевский А.

Ягоды желаний / А. Радзиевский — «ЛитРес: Самиздат», 1992

ISBN 978-5-5321-2519-3

Эта история мимолетной, безумной любви кому-то покажется мистикой, но она основана на реальных событиях, и даже многие имена не изменены. Это было в том Херсонесе, которого уже нет: Владимирский собор стоял в руинах, монастырский сад за музеем – в неухоженных зарослях, купаться можно было хоть днем, хоть ночью, а в археологических экспедициях еще были свои «старожилы», съезжающиеся летом со всей страны. Но! Самое интересное, что все это родилось и писалось ради нескольких строк, которые автор в конце повествования определил как: «Формулу счастья любви». Любви, которая тем, кому выпало ее встретить, но потерять, годами не дает покоя. А зря.

ISBN 978-5-5321-2519-3

© Радзиевский А., 1992
© ЛитРес: Самиздат, 1992

Содержание

Пролог: Мы все родились для того, чтобы с нами что-то случилось 6
Глава I: Ни во сне, ни наяву от себя не убежать 13
Глава II: Как ни ждешь, придет нежданно 22
Конец ознакомительного фрагмента. 30

Спросил у чаши я, прильнув устами к ней:
«Куда ведет меня чреда ночей и дней?»
Не отрывая уст, ответила мне чаша:
«Ах, больше в этот мир ты не вернешься. Пей!»
Омар Хайям

Пролог: Мы все родились для того, чтобы с нами что-то случилось

За нами гонится ночь. Уже который час солнце упрямо цепляется за край горизонта, но наперед известно, что приземлимся в глубоких сумерках, не хватит какого-то часа. Обречены. Столкновение с ночью неминуемо. Гложет бессилие. Понимаю, что глупо и надо бы уснуть, забыться, но бесполезно – пробовал. Курс моих желаний прокладывается не мной…

Пока на посадке потели в душном накопителе, пережидая очередную задержку рейса, эхом пронеслось по головам и камнем опустилось в сердце: «На выходе из Новороссийска теплоход «Адмирал Нахимов» в 23.20, в четырех километрах от берега…». Дальше даже про себя произнести страшно. И куда тут же делось предвкушение всех радостей жизни от неожиданно начавшегося отпуска? Когда, наконец, отдал тело потертому креслу, женский голос из динамика над головой произнес как-то безрадостно, заученной скороговоркой: «Командир корабля и экипаж приветствуют вас на борту нашего лайнера. Мы совершаем рейс Петропавловск-Камчатский – Хабаровск – Симферополь», – в голове промелькнуло: «А мы?» – «Теперь пристегните ремни безопасности…». Про себя вздыхаю: «Экая ж бессмыслица», – но все же наивно проверяю, надежно ли защелкнулся массивный замок.

Земля уходит из-под ног. С удивлением обнаруживаю созвучие данного процесса со своим внутренним состоянием и понимаю, что это чувство во мне появилось гораздо раньше. Еще и еще прислушиваюсь – к вою двигателей, к вибрации, щекочущей пятки, как будто впервые взираю на искореженный горб Корякского вулкана, на всегда такой милый, а сейчас совершенно зловещий дымок над Авачинским, на забавно превращающиеся из тупорылых, черных, огромных чудовищ в маленьких китят подводные лодки там внизу, на сизой глади залива. Легко нахожу свою. Вон она, притерлась вторым корпусом на дальнем пирсе слева. Еще сутки не прошли, как выбрался в последний раз из ее чрева, громыхнул по трапу, козырнул на флаг и был таков. Ну и радуйся чудак, бархатный сезон! В кои веки! Как говорят у нас – теплая водка, потные женщины… Ан нет, эта метаморфоза с родимой горбатой уродиной под ногами, ее превращение во что-то малюсенькое, до смешного несерьезное, неожиданно кажется совершенно естественным. Сам себе шепчу под нос: «Старина, брось, это ведь атомный подводный ракетоносец! Стратегического назначения, черт тебя подери! И ты не хрен с бугра, ты – штурман на ней, командир «боевой части раз», капитан-лейтенант. Пять автономок за плечами. Можно сказать, вся задница в ракушках»… Нет, не помогает. Все звучит грустно и смешно. Точно сдвинулась какая-то жизненная ось. Взгляд плывет над землей, и ее незыблемая твердь начала разжижаться, выливаясь куда-то за край. С чего бы это вдруг, будто переполнила последняя капля? Ничего ж себе капля – «Адмирал Нахимов»! И разве «вдруг»?

…Жизнь экспрессом катила на зеленый свет: мальчишка на пирсе в ожидании отца на берег, у лодочного трапа, пилотка с кокардой, палец в носу… После школы – училище, и пять лет одна мысль червоточиной: «Только на них! Они настоящих мужчин…». И вот: первые моря, первый кайф долгожданной причастности, лейтенант, старлей и первое флотское звание – капитан-лейтенант, смак нарастающего мастерства и… Пшик.

Устал что ли? В этот раз, когда вернулись и раздалось: «Отдраен верхний рубочный люк!» – почти вслух выдохнул:

– Ну, слава тебе, Господи!

Устал, не устал, но сдвинулось что-то точно, зарождая тревогу и сомнения. С чего же все началось? В апреле, с Чернобыля? Тогда прикрывались ухмылками: «Подумаешь, вот он, рукой подать, пара переборок – наш родной маленький Чернобыль, кадит себе потихоньку. А здесь ахи, охи – радиация». Да когда у нас в реакторном отсеке было чисто, никто и не помнит. Прой-

дешься, на выходе тапок поднесешь к датчику – трещит, зараза! Поговаривают, со стапелей еще, спихнули же к дате, на ордена… Потом докатилось с опозданием из Приморья: «Валька Громов…». Гром. Он был на той лодке. Пили до утра, не чокаясь. Первый из нашего выпуска… Ну и в последнем походе на глубине подфартило: выворачивающий наизнанку храп ревуна и по громкой: «Пожар в четвертом отсеке!». Правда, отделались легко, электрощит всего лишь надымил, потушили враз, но постыдная прохлада щекотала позвоночник еще несколько дней, оттого и вздохнул облегченно, когда всплыли. Да и отпуск этот начался странно. Поздним вечером командир неожиданно всех собрал, хмурясь и что-то недоговаривая, раздал отпускные листы, в глаза не смотря:

– Без вопросов. С завтрашнего дня на все четыре стороны, время «Ч», сутки пошли. Деньги получите утром.

Общий шок. Ладно мне, бессемейному, шмотки в сумку да на посадку, а у кого целый табор? Попробуй улететь! Повезло, пробился с первого захода и на прямой рейс, так тут, нате вам, весточка… Узнали бы по прилету, всяк было бы легче, а теперь самолет полон насупленных бровей. Камчатка – край моряков и моряцких жен, здесь такие новости каждый примеряет на себя, и вроде бы донеслось из-за спины, а надвигается в лицо – мы ведь летим туда, к Черному морю. Отсчитываем колючие хребты полуострова, выскакиваем над жидким свинцом Охотского. Закурить бы! Обычно до Хабаровска терпится, два часа еще не пытка, а тут указ о запрете курения в самолете бьет по ушам и ломит зубы. Да и не у меня одного, мужички потянулись хмурые к туалетам в корме. Экипаж в понимании закрыл на это глаза, нарушая запрет, курили по двое. В напарники выпал пожилой рыбак, из-под свежей рубашки застиранный тельник, оторвав зубами полмундштука, затягивался Беломором глубоко и с шумом, молчал. В конце сплюнув, выдохнул:

– Вот же, мать твою! Я ж на нем в шестьдесят первом с жинкой медовый месяц откатал! Представляешь? Конкретная махина, должен я тебе сказать. Народища на нем больше тыщи… Вот же напасть!

Представить трудно – мне на нем не пришлось кататься, и вспоминается только из детства: у пирса высоченной стеной белый крашеный борт, ряды иллюминаторов, но больше всего завораживали мальчишеское любопытство тысячи заклепок по всей обшивке, что подсказывало – так корабли уже давно не строят, и в их пунктирах виделось послание из какого-то далекого прошлого. Только брошенное в сердцах повидавшим жизнь моряком слово – «напасть» застряло глубоко и звучно. Какое точное и весомое слово!



..Тысячи заклепок по всей обшивке, что подсказывало — так корабли уже давно не строят..

/Севастополь, I98I/

Напасть! После Хабаровска пытаюсь уснуть, лучший способ убить время в долгом полете, но при каждой попытке просыпаюсь через минуту в холодном поту. Повторяется один и тот же сон: …Сменившись с вахты, в своей каюте, не раздеваясь, грохаюсь на койку и только начинаю забываться, как раздается протяжный скрежет. Борт над моим лицом, как в замедленной съемке, прогибается и начинает расползаться в стыке металлических листов, прошитых могу-

чими заклепками. Они напрягаются в своих гнездах, с ужасом молю: «Только бы выдержали!», но те деформируются, как пластилиновые, и рвутся. Пробоина раздвигается, и через ее пасть с брызгами соленой воды вползает нос какого-то судна – овальный бульб. Кубарем скатываюсь с кровати, вылетаю из каюты и силюсь вспомнить – на какой палубе она у меня находится и сколько всего палуб на «Адмирале Нахимов»… Эта чертовщина повторяется многократно, каждый раз срывает сон, как занавес, испарина на лбу, и я еще долго прихожу в себя, не сразу понимая даже, где нахожусь. Напасть.

…Столкновение с ночью неминуемо. Что оно сулит? Коль не спится, ухожу, как на глубину, в свои мысли: «Ну, автобусов уже не будет, так я ж себя знаю – в любом случае поеду на такси. Не будет такси, так на частнике. Жалко, что доберусь в Севастополь уже глубокой ночью, и лишаюсь блаженства встречи с родным городом после долгой разлуки…»

О! Это каждый раз ритуальное упоение: машина скатывается в чашу Инкермана, взор из утробы бухты летит по белым пятнам домов, утопающих в зелени, дымчато-серые замки кораблей словно парят в бликах солнечного света на легкой ряби воды. Щемящее желание жмурить глаза – так тяжело удержать все это одновременно, и слышишь в себе дрожь, будто протяжный зуммер последнего удара колокола… А далее машина с рывком вбурится в серпантин на подъеме, провальсирует средь пыльной листвы, одурманит вконец и швырнет, как котенка за шкирку, к парадному входу на Воронцовой горе. Выжженная лысина степи с томящим запахом отмерших трав рассечена по макушке столбовой дорогой, и вот он – родной Севастополь, как на ладони: от новостроек на Остряках, по крышам Центральной горки, до размазанной в солнечной дымке Северной стороны. И уже лазурная полоска моря лижет своим языком, словно долго скучавший пес, и крик во всем теле: «Я к тебе вернулся!». И хмелеешь от такого знакомого, ни на что больше в мире не похожего, рокота колес по булыжной мостовой на спуске и подъеме у Южной бухты. Мелькают знакомые: деревья, лестницы, окна, балконы, арки, парадные и не парадные двери, а булочная на Большой Морской

запахом сдобы ставит последнюю точку – ты этот город никогда не покидал, он всегда был и есть с тобой!

Но, это только присказка, сказка впереди: на подъезде к Стрелецкой, сразу за фасадом строительного техникума, каждый раз появляется наваждением, на отшибе голого мыса, таинственный силуэт полуразрушенного Владимирского собора. Вот она сказка, читанная-перечитанная, но так и непознанная до конца – Херсонес!

Херсонес. Что это? Из года в год задаю себе этот вопрос. Еще когда мама впервые привела меня к его руинам, и сердце мальчишки билось и замирало на словах – древний город. Ах, это детское прикосновение ко Времени! Пахнущие сыростью, в мокрицах крепостные стены, мраморные колонны, словно пальцы держат небо, осколки античной и средневековой утвари под ногами – сплошь и рядом рассыпанный клад! Карманы набивались и рвались, а дома, отмыв и очистив собранное, перекладывал между собой и мучился над первой загадкой: осколки разного цвета глины, черного, красного, зеленого лака, не совпадали между собой, но дарили мысль, что это кусочки чего-то единого. И перекладывал, перекладывал…



..Прикосновение ко Времени! Пахнущие сыростью, в мокрицах крепостные стены..

/Херсонес, I983/

Сейчас смешно, то ли была задачка?! Дабы каждая разгадка приносила новые тайны. Так из вопроса в ответ, из ответа в вопрос с той поры бегут и бегут мои годы, а он манит и зовет: неизвестно отчего погибший, но не умирающий град; маленький, но необъятный клочок земли; родившаяся, но не отделившаяся планета; город в городе; антимир, живущий по обратным законам времени. За его пределами что-то строят, возводят, одевают в бетон, а он произрастает

и множится из себя самого, из того, что было когда-то, много-много столетий назад. Оголяются белыми ребрами известковые останки раскопанных улиц, но этот костяк оживает быстро: колкими травами и алыми маками, гомоном кузнечиков и цикад, вездесущими улитками, снующими ящерками. А мы, огромные, двуногие, приходим уже на их угодья, так – побродить, или, как подобные мне – в рабство, чтобы взять кирку и лопату и метр за метром откапывать из земли и расширять их империю средь древних камней и канувших человеческих судеб.

Херсонес – это все наоборот. Каждый праздношатающийся с завистью поглядывает в сторону иссыхающих на раскопе под палящим солнцем рабов, а каждый раб, однажды им став и приезжая сюда из сезона в сезон, обреченно благодарит свою судьбу. Вот еще парадокс: наши «рабовладельцы», вручая нам в руки каждый сезон кайло и лопату, указывая, где нам и как копать,– на самом деле еще большие рабы Херсонеса. Это мы только набегами, а они и зимой, и летом шарканьем ног по раскопам давно слились с этим городом воедино, будто в клятве, которой тысячи лет: «…не предам Херсонеса». Волей судьбы мне вместо клятвы выпала присяга, но при каждой возможности лечу туда, чтобы раствориться в армии счастливцев, удрав из армии нашей жизни. Забыть о погонах и званиях, о должностях и обязанностях… И, видимо, есть какой-то умысел в том, что когда-то здесь был монастырь, но монастырь стал музеем, а музей и его экспедиции сделали нас в сути своей монахами, ведь мы сбегаем сюда от мирской суеты и селимся в бывших кельях, а значит музей для нас – монастырь. Бесконечная метаморфоза в метаморфозе, при этом мне никак не понять, что я тут делаю: пробираюсь к самому себе или скрываюсь от себя? Но как бы там ни было, я лечу! Лечу туда, где мы прекрасны своей любовью к Херсонесу. Туда, где мы равны, неважно, откуда я и кто ты. Где я даже имя свое забываю за кочующим из приезда в приезд прозвищем – Капитан.

Капитан – это сложилось очень давно. Когда в пятнадцать лет впервые пришел подзаработать во время школьных каникул, мой первый начальник, не увидев меня как-то в глубине раскопа, пошутил: «А где наш пятнадцатилетний капитан?». Тут оно и привязалось. Став курсантом, рассказывал всем взахлеб о своем первом дальнем походе в Атлантику, за что переименовали: «Ты теперь у нас капитан дальнего плавания», а когда вкрутил четвертую звездочку в погоны, это уже была констатация факта: «Теперь неисправимо – Капитан, пока не дорастешь до адмирала!». И чем ближе к сумрачной Тавриде, тем чаще сам к себе обращаюсь:

– Ну что, Капитан, не ночевать же тебе в аэропорту?



..Мраморные колонны словно пальцы держат небо, осколки античной и средневековой утвари под ногами..

/Херсонес, 1981/

Глава I: Ни во сне, ни наяву от себя не убежать

Полуостров в багете иллюминатора неприветлив и тревожен. На вираже за чернильными силуэтами Крымских гор Черное море дышит холодом смерти. Жидкая, зыбкая, в последних бликах заката братская могила. По приезду, как ритуал, всегда бежал окунуться, сейчас при одной мысли об этом становится не по себе, и почему-то хочется верить, что никто не в силах плескаться сейчас в этом море, и золотые пляжи по всему побережью пусты и скорбны.

Симферополь бьет в глотку дурманом кипарисов и тополей. Вырываюсь из его татарских переулков на шабашном лихаче, сторговавшись на полусотенном билете. Дорога настолько знакома, что каждым своим поворотом, подъемом и спуском убаюкала тут же. Очнулся, когда с разрешения опустевших улиц ворвались на полном ходу в город, и водитель, заботливо молчавший всю дорогу, громко спросил:

– Тебе куда, Капитан?

Продирая глаза, изумленно кручу головой, спросонья не поняв сразу, как очутился так быстро под севастопольскими фонарями и откуда он знает, что я Капитан? Таксистский жаргон?

– В Херсонес.

Вот так, коротко, как пароль самому себе, и знакомое волнение клокочет. Собора в темноте не видно, но в приоткрытое окно ворвался его руинный дух. Замельтешили пики музейной ограды, пронзительно и мерзко скрипнули тормоза. Прибыл! Здесь говорят: за полночь еще не вечер, но у центральных ворот ни души. Воздух после быстрой езды кажется густым и тяжелым, чуть колыхнулся волной от укатившей машины и упруго встал на место. Кованая калитка что-то предостерегающе проворчала. Сворачиваю влево, к отделам музея, на узкую аллею, увитую арками хмеля. Мои шаги так звучны, что сердце замирает, испуганное одиночеством их гула, даже сверчков не слышно. В монастырском дворике молчит фонтан, чуть выступают из траурного бархата деревьев белые колонны в периметре, второй этаж средневекового отдела тлеет сине-желтыми витражами. Все как всегда, только на лавочках, что обрамляют с двух сторон этот райский уголок, никого – и это более чем странно. Хочется сесть, перекурить, восстановить неизвестно отчего позабытую традицию, но погоняемый паническим беспокойством, что мир перевернулся и в этот раз никто не прилетел, не приехал, не пришел, ускоряю шаг к родным пенатам. Бог с ним, уснул музей, но наш монастырь не мог уснуть! Над Херсонесом, несмотря на начавшийся сентябрь, еще летние ночи, и этим все сказано!



..Собора в темноте не видно, но в приоткрытое окно ворвался его руинный дух..

/Херсонес, 1986/

Жадно глотаю глазами издалека желтый свет в окнах отдела и темные фигуры у сараев, приспособленных под ночлег, облегченно выдыхаю сомнения: «Здесь, голубчики! Собрались, съехались…». Неожиданно осадил голос Шефа:

– Стой, кто идет?

Шеф он и есть, шеф команды аквалангистов Северодвинского клуба «Пингвин», и я, ухмыляясь про себя: «Хм, вот и пингвины прилетели на юг кости погреть», – отвечаю, как принято:

– Красная Армия к мальчишам на подмогу!

– Вот тебе на! Капитан собственной персоной!

А сиповатый голос Сергеича, начальника всего этого доброго безобразия под таинственным для непосвященных названием «Отдел Гераклейские клеры», с напускной суровостью проворчал откуда-то сбоку:

– Опять дезертировал с восточных рубежей нашей Родины! А кто нас от супостатов защищать будет?

Жив Херсонес, жив! Мы садимся тут же, под сводами звездной ночи, разливаем по стаканам да по железным кружкам корабельный спирт тихоокеанского розлива и для острастки его удушающей крепости разбавляем холодной водой из садового крана поблизости. На звон стаканов силуэтами сбредаются те, кому не спится и неймется. Каждый выдыхает как заговор перед глотком: «С прибытием!».

Так обычно и текут херсонесские ночи, отдавая дань за ранние подъемы да за рабский труд дневной. Во всплесках радостных встреч прибывших невесть откуда, во вздохах проводов убывающих невесть доколь. В ночных купаниях да гулянию по городищу. Текут и вином, и зельем покрепче, а нет – так просто чайком, так как питие здесь есть антураж и не более. Легкий ужин может перерасти в великое застолье до утра, а то и с продолжением до следующего, но, конечно, с перерывом на работы. Все это, как в том анекдоте, называется – экспедиция, и не какая-нибудь, а археологическая. В этот раз мое появление совпало с громким эхом трагедии, и оно так оглушило, что даже разогретые спиртом тела прохватывает легким ознобом. Ни у кого не возникает желания перебраться в дом, сдвинуть столы и пуститься в шумные оргии. Сегодня в нем было не до веселья, а то, что было, еще не выветрилось ни из стен, ни из сознания:

– Немного опоздал, Капитан, ребят из школы водолазов провожали в Новороссийск. Выпало мужикам погибших из «Нахимова» извлекать…

Я не знаком с теми мужиками, но какая разница, коль они сюда пришли перед отъездом и их здесь провожали. Отсюда и мрачность нашей встречи, и немногословность спонтанного застолья, только стаканы в руках поблескивают ночными светилами.

– Да, подкачал «Адмирал».

Выпили сначала за ребят, сдвинув посуду в клацающем ударе. Хоть они и водолазы-профессионалы, храбрились и шутили, но дай им Бог силы на такую работу! А потом беззвучно за тех, кто по воле жестокого рока стал этой работой. И как-то дальше не пошло, расползлись по кельям угрюмые как никогда «монахи». Мы остались с Сергеичем.

Кому Сергеич, а кому – Сергей Сергеевич Соболев. В летах, но весьма крепкий мужик, с судьбой, нарезавшей глубокие морщины у глаз да окрасившей ровной проседью волосы. Остальное – легенда, лишь изредка подтверждаемая рублеными фразами во хмелю: «Двух товарищей я в море потерял… Близкий друг мой сорвался со скалы на задании в Гибралтаре. На корабль, для конспирации, тащили его с переломом позвоночника, под видом пьяного матроса… Так и умер у нас на руках, не донесли…»

Капитан морской пехоты в запасе, он об этом всегда помнит и любит подчеркнуть: «Как капитан капитану, скажи мне…». В речах своих бывает то риторичен, то чеканен: сказываются и обширные знания, включая несколько языков в совершенстве, и военное прошлое, и дипкорпус, и служба в разведке. Нам он в первую очередь Босс, радушный «рабовладелец», начальник экспедиции.

– Ну что, Сергеич, куда пристроишь на ночлег? Мне, правда, уже не уснуть, по камчатскому времени дело к обеду, но прилег бы, – разливаю еще по паре капель.

– Не спеши, – он куда-то удаляется сутулой тенью, долго шуршит листвой и ветвями из темноты. Возвращается пошатывающимся наваждением и по-царски преподносит мне маленькую, но туго набитую ягодами черную гроздь винограда. – Это вам на десерт, сэр! Представь, в это лето в том конце двора, как никогда, уродилась изабелла! А архаровцы, вечно голодные, все обглодали, но эту я давно присмотрел и не выдал!

Выпили, отрываю от грозди три виноградины и еще не успел положить их в рот, а воздух наполнился ароматом – созвучье меда и роз. Пальцы липнут в смолистом соке, и вслед за ягодами жадно их вылизываю. Божественно!

– Где уложить тебя, даже не знаю. Завтра двое покидают нас, а сегодня, может, рискнешь в отделе на диванчике, с Хозяином на пару? – и похрипывает в усмешке.

– Издеваешься? Мне бы хозяйку на тот диванчик, еще куда ни шло! – пытаюсь свести все на шутку. – А с Хозяином, Сергеич, это извращение и, чай, я не новичок, чтоб меня к нему под бок.

– Дрейфишь, армия. Хозяйку ему! Что, изголодался в морях, застоялся в гениталиях, пилигрим? Ну, вот и проверь, может это и не Хозяин вовсе, а Хозяйка. Кто знает, может, даже девственница! – опять смеется, бывалый подкольщик.

Вот так всегда – то лелеет, то огреет. Прикормил, а теперь потешается, лукавый:

– Я тебе спальник оставлю, если Хозяин прогонит, не сговоритесь, там в саду, за калиткой, направо, старенькая раскладушечка стоит, переберешься.

Никто не помнит точно, с чего это началось и когда все окончательно поняли, что в доме, где расположился отдел, обитает Кто-то. Нарекли его Хозяин. Я первый раз услышал о загадочных шагах еще в курсантские годы от Лёни Шнейдэра. В зимний вечер, будучи в увольнении, забрел на тусклый огонек в глубине дома. Оказалось, сидят гурманы и разнообразия ради, как мне было замечено, выпивают, не торопясь, водочку из маленького ковшичка, предварительно подогревая ее на необычно толстой старой свече. Смакуют и веселятся под Лёнин рассказ о том, что вчера с ним приключилось после того, как, отметив изрядно за этим круглым столом праздник нашей доблестной армии, к которой все в той или иной степени причастны, разбрелись по домам. Его не стали будить, давно «усопшего» во хмелю, и оставили в отделе до утра, свернувшегося калачиком на старинном кожаном диванчике. Проснулся Лёня глубокой ночью, хотя обычно в таком состоянии не просыпаются так рано, и не от чего-нибудь, а от шагов на чердаке. Утверждал, что к тому времени немного протрезвел, но не окончательно. Оттого черт его понес посмотреть, кто же туда забрался, и все бы ничего, если б он просто там никого не нашел, но, когда он вскарабкался по лестнице на чердак, шаги переместились на крышу. Как утверждал, черепица прогибалась под чьей-то тяжестью, и скрипели балки. Дальше он помнит туго: то ли хмель новой волной накатил, то ли страх им овладел, но началась с ним какая-то булгаковщина: в кармане подвернулись спички, чиркая одну за другой, он стал в чердачном хламе выискивать что-нибудь увесистое, дабы вооружиться, при этом орал как резаный и топал, изображая, что он не один. Но чердак был усеян только ломаной черепицей, да в углу свалены старые ящики с забытыми черепками давнишних экспедиций. В одном из них он обнаружил вот эту старую монастырскую свечу, у которой они сейчас собрались. Запалив ее и насовав за пазуху глиняных обломков, через чердачное окно полез на крышу, где уселся на конек и принялся поджидать неприятеля в полной боеготовности с пылающей свечой в руке. Вот в таком виде его и застал патрулирующий по музею наряд милиции, но Лёня не сразу понял, что товарищи пришли на подмогу, и отстреливался до последнего «снаряда». Под конец хотел и свечу запустить, но тут ее пожалел, пришел в себя и сдался. Тогда никто не придал значения шагам, списав их на дозу выпитого и впечатлительность Лёниной натуры и больше акцентируя внимание на общей комичности ситуации. Вспомнился этот случай и многие другие, когда окончательно поняли, что ночевать в доме невозможно! Неверующих новичков не отговаривали – вольному воля. До утра выдерживал не каждый, чаще приползали средь

ночи в сарайчик на оставленное предусмотрительно местечко, чертыхаясь и матерясь, а если не приползали, то наутро недоверчивые были бледны, не выспавшиеся, с опухшими глазами. На вторую попытку никто не решался…

Одни просыпались и чувствовали на себе взгляд из какого-нибудь темного угла, другие, очнувшись, будто вдруг ощущали на лице горячее дыхание, почти все слышали шаги в разных концах дома и на чердаке. Масла в огонь подлил Сергеич, когда поведал, что видел мерцающий силуэт и даже пытался с ним разговаривать. Только одно точно случается каждую ночь. В середине дома, из так называемой гостиной с круглым столом и злосчастным диваном, который всех так и манит своим отличием от нар со старыми армейскими матрацами, в рабочие две комнаты, заставленные письменными столами и стеллажами экспедиционных материалов, ведет старая тяжелая дверь. Так вот эта дверь рассохлась и перекосилась в коробке, оттого закрывается туго и не до конца, а если закрыть с трудом удается, то потом ее можно открыть, только вышибая плечом с разбега. Изнутри же, дергая за ручку, вообще бесполезно. На окнах решетки, и остается только кричать, чтобы кто-нибудь вызволил. Каждый, кто испытывал свои нервишки, оставаясь на ночь, обязательно ее плотно захлопывал, чтобы хоть этим уберечь себя от ночного гостя. Можно себе представить состояние бедняги, когда проснувшись от шагов или еще от какой-нибудь чертовщины, он видел, как дверь открывается, точно под легким дуновением сквозняка! И даже если никто в отделе не ночует, он закрыт на все замки, а окна – на все шпингалеты, то захлопывай, не захлопывай, но утром дверь будет распахнута. Многократные эксперименты были в своем результате неизменны.



«Отдел Гераклейские клеры».. Никто не помнит точно, когда все окончательно поняли, что в доме, где расположился отдел, обитает Кто-то..

/Херсонес, 1983/

Мне как-то и без этого в жизни хватает острых ощущений, поэтому беззлобно про себя выругал Сергеича, сгреб в охапку спальник, решив не испытывать судьбу, пошел разыскивать раскладушку. Старый шутник и здесь меня разыграл, указав – «за калиткой, направо», это «направо» разгадывал минут двадцать, натыкаясь впотьмах на заросли кустарника, на деревья, спотыкаясь о кучи камней и еще всякой всячины, пока не саданулся голенью об эту рухлядь под

названием «старенькая раскладушечка». При этом еще и оцарапался проволокой, накрученной в поддержание ее останков. Процедив сквозь сжатые зубы все, что только можно в этом случае, ощупал с недоверием на удивление целую и даже почти натянутую парусину. Мало того, сверх нее лежит какое-то одеяльце. Но и здесь жду подвоха, оттого не спешу, натягиваю свитер – под утро будет холодно, и шерстяные носки, обдумывая, как рухнет эта старая кляча, когда лягу, и что бы этакое придумать в отместку Сергеичу по старой дружбе на утро. Но катаклизма не произошло, старушка-раскладушка только томно и жалобно скулила подо мной, пока ерзал, укутываясь в спальник. Когда замер, сразу понял, что за всей этой мелкой суетой прятался, как за хлипкой стеной, от настигающей по пятам на пару с этой ночью еще с самолета заунывно-фальшивой ноты своего настроения. Как только я остановился, оно настигло. И где?! Здесь, в монастырском саду, на старенькой раскладушечке, в рваненьком спальничке, посреди крымской ночи!

То ли мерещится, то ли нюх мой куражится, но чувствую запах женщины! Запах женского тела, тонких духов и ароматного крема, дурман помады, все это обволакивает голову густой пеленой, а в ней плывет ехидное: «Проверь, может, это и не Хозяин вовсе, а Хозяйка!». Воспитанное годами службы благоразумие меня покидает, и изголодавшаяся мужская сущность рвется на подвиги: фляга еще полна, вот пойти и напиться с Хозяином или Хозяйкой, кто его знает, вусмерть, а вопрос к действию: «Закрыл или не закрыл Сергеич отдел?» – пугает своей крамольностью. Понимаю, что если даже удержу себя в эту ночь, то все равно идея приобретает навязчивую форму, как единственная возможность войти в потерянный ритм жизни через некий синдром.

Неизвестно откуда взявшиеся запахи терзают душу и измываются над больным, после трех месяцев автономки, воображением. Борюсь, как могу, копошась под всхлипывание «ложа», выцарапываю из кармана сигарету и спички. Высвободив руки, закуриваю не столько оттого, что хочу курить, сколько, чтобы хоть как-то заглушить этот вечно знакомый и волнующий эфирный дух. Но табачный дым только в него вплетается, как будто не я, а она закурила, и не мои, а ее тонкие пальчики изящно держат во тьме магический огонек сигареты. Не найдя равновесия мыслей в никотине, шепчу себе под нос шлейфом дыма: «Отсюда надо бежать! Бежать к чертовой матери! К Таисии, на Фиолент!» – Сергеич сказал, что она опять набирает народ раскапывать античный храм на живописном мысочке под маяком. Спрячусь в палатке от греха подальше.

Время Тавриды подкатило к «адмиральскому часу» на Камчатке, обед был скромен, но изыскан – гроздь изабеллы, и рот до сих пор хранит ее буйную сладость, а она так созвучна сумасшествию моего обоняния. Спасает сила привычки, традиционный час послеобеденного флотского сна помогает забыться в дреме, если это можно назвать забытьем. Сон из самолета повторяется, и с продолжением!

…Скрежет… рвутся заклепки… вылетаю кубарем… Бегу по проходу, слева и справа распахиваю двери кают, хочу предупредить всех, что мы тонем, но они пусты, и с ужасом прихожу к выводу, на этом корабле я остался один! Только не могу понять, был один или уже все кроме меня успели покинуть тонущий пароход? Коридор бесконечен, судно накреняется, не вижу, но слышу, как дружно хлопают за спиной мной распахнутые двери. Осознаю, что без толку, но продолжаю машинально их откупоривать, уже никого не выискивая, и тут к канонаде дверей присоединяется новый звук – истошный вой потока воды, и он нарастает, значит, мне от него не уйти! Влетаю в ближайшую каюту, защелкиваю на замок дверь. И только тут замечаю, что я не один. На коечке у иллюминатора сидит, скрестив длиннющие ноги по-турецки, девица и, не обращая внимания на происходящее, втирает в свое обнаженное, загоревшее до бронзы тело жирный белый крем. Он лоснится, ложась тонким слоем из-под пальцев на упругий девичий живот, а ниже светится каплями в черном сгустке волос. Я ору на нее:

– Спятила, дура?! Тонем! Пробоина, еще мгновение, и вода будет здесь! – Но слышу только беззвучие искривленного рта. Она медленно поднимает тяжелые глаза, смотрит на меня без удивления и, не стесняясь своей наготы, даже наоборот, встав с постели, будто преподносит мне царский дар, точеные, почти не вздрагивающие при ходьбе, груди с бусинками сосков цвета свернувшейся крови. Приблизилась, положила мне руки на плечи, потом обвила шею, прижимаясь всем телом, и бесстрастно говорит в лицо:

– Тонем. Я знаю. Какая теперь уж разница, теперь все едино. Помирать, так с музыкой, как говорят. Ты будешь моей музыкой, а я – твоей.

Задыхаюсь в ее губах, при этом пытаюсь сказать, что шанс есть, нужно только заделать вентиляционные щели в двери и все другие, через которые будет сочиться вода, потом главное – продержаться, а там подоспеют водолазы, сильные парни, профессионалы, их вчера проводили уже сюда в Херсонесе. Тут спотыкаюсь сам в своих мыслях, в их временной несуразности, а поток воды с ревом захлестнул дверь и по ногам из щелей бьют упругие струи. Каюта постепенно наполняется. Для нее же, как будто ничего не происходит вокруг! Обвивая своим телом, оплетает ногами мои бедра, не отпуская моих губ… Вода прибывает, поднимается выше плеч, еще секунда, и мы захлебнемся…

Когда весь мокрый вскакиваю, первое, что вижу – это загорелую женскую спину, маленькие покатые плечи, и гибкие пальчики тщательно втирают в них крем. Оборачивается, и я вижу лицо Надежды. Та смеется:

– С приездом, Капитан! Ночью прилетел? А теперь никак от Камчатки отогреться не можешь? Полдень, на самом солнцепеке в ватном спальнике. Ой, да еще, оказывается, в свитере… Вот умора!

Разопрел я на славу, все хоть отжимай. Надюха тараторка, не остановишь:

– Представляешь, в этот сезон я кашеварю, перед отъездом болела. Шеф под воду не пускает, вражина. Так я, чтобы себя не дразнить морем, загораю здесь. Ребят покормлю, они разъедутся по объектам, а я сюда. Правда, сегодня ты мое место занял и одеяло под голову положил, поэтому вот загораю, сидя на ящике, а ты дрыхнешь…

– У тебя духи с собой?

– В косметичке, а тебе-то зачем духи?

– Тепловой удар у меня, хочу понюхать вместо нашатыря.

Она смотрит недоверчиво, но тянется к сумочке, куда только что спрятала тюбик. Достает маленький, смешной по форме, импортный флакончик. Беру ее руку, обнюхиваю сначала пальцы, которыми она только что втирала крем, потом духи.

– Ясно. Твое счастье, не знал, что ты здесь загораешь, на этом одеяльце, которое служило мне подушкой, а то утонула бы вместе со мной!

– Типун тебе на язык, «пингвинам» нельзя говорить слово «утонуть»! Ты точно перегрелся. Скидывай свою мокроту и иди окунись, я потом тебя накормлю.

Раскидываю по можжевеловым ветвям свои одежды и, прихватив полотенце Надежды, бреду, как в бреду, к морю в полуденном пекле, сам не свой со сна и ото сна. Прихожу в просветление уже на маленьком диком пляже у подножия останков базилики. Вспомнив все, от страшной вести еще на Камчатке, до слов Сергеича: «Выпало мужикам погибших из «Нахимова» извлекать…» – и, увидев, что творится вокруг, столбенею. С тихим ужасом взираю на груды млеющих тел, мерзко вибрирует в ушах веселый гомон, а у самых ног дородная мамаша распихивает по двум ртам своих чад жирные тефтели из огромной банки, и их столовский запах встает в горле тошнотой. Но больше всего поднимает волосы дыбом зрелище – люди плещутся в прибрежных волнах! И сам я сюда пришел для того же! Боже, мир сошел с ума! Хочется закричать во всю глотку: «Что вы делаете!?! Нельзя, нельзя в нем купаться, там же… Это же могила!» – Забыл о жаре, о потном своем теле, и бьет озноб, зубы начинают клацать мелко и противно.

Днем все иначе, чем ночью. Ночью верится в скорбь и мерещится траур. Наступил день. День? Определенно: или я что-то не понимаю, или мир перестал что-то понимать… Остается одно – бежать!



..Нащупал волокнистую кору лозы, здесь уже рукой подать, и пальцы уткнулись в сыпучий известняк на торцах входа..

/Херсонес, Отдел "Гераклейские клеры", 1986/

Глава II: Как ни ждешь, придет нежданно

Этот поздний вечер выполз на третий день по возвращению водолазов с «Адмирала Нахимова». Два дня в палатку на Фиоленте, куда сам себя заточил на пару недель, обрывками долетали слухи: «Домой вернулись не все… Один погиб. Один в психушке. Поняли не сразу, поднимал утопленников, привязывая к себе… Ничего не рассказывают. Молча глушат горькую, проваливаются в мертвый сон, очнутся – опять пьют…».

Два дня метался как в шторм, боялся увидеть в их глазах подтверждение своих тревог, но, как стрелка компаса, был не в силах вырваться из притяжения. На третий, сам не поняв с чего, как по сигналу, перед самым закатом сорвался и, словно пес, которого сначала тянут против воли, а потом он бежит впереди, изображая, что это не его ведут, а он, вернулся в Херсонес.

Никто не помнит точно, в какой момент появилась она. Одни утверждают, будто с последними гонцами в магазин. Те же дают голову на отсечение, что, когда втащили, диковинным ежом, полную авоську четвертушек сухого, она уже сидела за столом. По традиции не спрашивали, каждый считал, что пришла с кем-то. Имя? Здесь тоже полная неразбериха. Никому не представлялась, но каждый к ней обращался, и она отзывалась на все имена. Костя, художник из Киева, уверен, что зовут Луиза. Шеф и вечный хохмач Женька утверждают, что Лиза. Последний, когда пытался тискать ее коленки под столом, приговаривал: «Лизавета, Лизавета, я люблю тебя за э-э-это!». Женская половина в инстинкте соперничества вообще игнорировала какие-либо имена, меж собой называя: «Она». А вот Андрюша, азартный ловелас, припоминает, что, уже будучи весьма подшофе, изображал с ней что-то вроде медленного танца, с трудом попадал в такт, уткнувшись лбом в ее плечо, слюнявил тонкую ключицу и страстно выдыхал: «Изабелла!». При этом не знает, почему – Изабелла, а все смеются дружно, припоминая, что это виноград, который его желудок не усваивает второе лето подряд. Как знать, но с этим именем она явилась мне. Явилась в полумраке отдела, в винных парах и всеобщем безумии. Пружина двух суток напряжения сломалась, траур издох, и народ, наглотавшись холодного как сталь тумана в глазах вернувшихся с «Нахимова», залил нещадно эту муторность зельем. Когда вошел, исступленная пляска под хриплый надрыв магнитофона будто отхлестала по лицу. В центре комнаты монумент командора – спящий сидя на стуле в позе кучера Сергеич. На подоконнике забытый всеми электрочайник взбивает в пар остатки воды, и он слезится по черным квадратам окна. Из дальней комнаты кто-то орет: «Идем купаться!». В самом темном углу не разобрать кто, но пара покинула всех надолго, сливаясь в поцелуе. Те, что еще недобрали, клюют носом в стаканы.

Из круговерти застольного хаоса мой непонимающий взгляд притягивают незнакомые девичьи черты, а ее черные глаза и звездочки бликов в зрачках говорят мне так, как будто я слышу: «Ну, что же Вы, сударь, опаздываете?! Я Вас здесь жду, жду… терплю все это безобразие, а Вас все нет и нет!».

Меня кто-то хлопает приветственно по плечу, упрекают, что трезв, шумно охают, что не пуст, успел раздобыть кое-что по дороге, а я стою истукан истуканом. Застигнут врасплох зрелищем неожиданного веселья вместо скорби и отчетливо понимаю трезвой головой, что опять просчитался! Мне не дано расплавиться и влиться в этот безумный поток. Утеряно родство, заточение на Фиоленте не помогло, и, как бы я ни маневрировал, обречен вновь и вновь возвращаться в исходную точку своего одинокого непонимания происходящего вокруг меня и в себе самом. Улизнуть бы по-английски, но озадачили глаза незнакомки своим откровенным упреком, как старому приятелю, если не больше. Сомнения заметались в вопросах: «Нет, определенно мы не встречались. Ну, может, ты, старина, был пьян тогда и не помнишь? Может быть, ты даже с ней спал?! Вконец зачерствела холостяцкая память?!».

В чуть уловимом шорохе век пролетела улыбка, и мне становится как-то нехорошо под языком от того, что вновь читаю в ее глазах слова, теряя последнюю надежду, что в первый раз это мерещилось: «Я так боялась, что Вы не придете, сударь! Я так ждала Вас! И Вы пришли!».

Она как-то не к месту пристроилась на дальнем уголочке стола, выпадая из общей кутерьмы происходящего то ли своей одинокой трезвостью, то ли осмысленным бездействием в этом шабаше. Мягкий контур ее в изгибах вторит беззвучным, но явно услышанным мною словам, волной радости долгожданной встречи, да так, что промелькнула мысль: «Может быть, Капитан, ты и не один в своем одиночестве?».

Засуетился, пытаясь скрыть слабинку смущения, извлекаю из сумки бутылки, ковыряюсь с пробками, разливаю. В руках дрожь, пот на лбу, чувствую, что она за мной внимательно наблюдает. Психую, проливаю зелье на стол и все пытаюсь сообразить: «Ну не может же незнакомка так радоваться твоему появлению?! Чего только здесь не было, но чтобы так пасть – не узнать ждущую тебя девицу! Срочно выпить!».

Под клацанье горлышка о край стакана проснулся Сергеич, старая закалка – вздремнул и опять в строю. Отчеканил витиеватый тост, что-то двусмысленно проворчав про не покидающие нас силы военно-морского флота. Пропускаю его намек мимо горящих ушей и, как мальчишка, украдкой, сквозь всплески о стенки стакана, ловлю силуэт самозванки. Она не пьет, держит стакан, выжидая, и я попался в капкан ее добродушной ухмылки: «Ну, что же Вы, сударь, не пьете?» – и, чуть кивнув головой, как бы добавила: – «За нас!». Медленно выпила томными глоточками треть стакана водки. Выпила, будто воду! Держа тремя пальчиками, отведя изящно в сторону мизинец и безымянный, мягко опустила стакан на стол, будто это не обычный граненый, а хрустальный фужер. Увидела, что я замер в удивлении, подняла брови вопросом: «Сударь, Вы не хотите выпить за нас с Вами? Смелее!».



Никто не помнит точно, в какой момент появилась она...
По традиции не спрашивали, каждый считал, что пришла
с кем-то..

/Херсонес, до сентября 1986/

Вопреки привычке и разуму не опрокинул залпом, а стал пить, медленно, как она. Пью, и не пойму что?! Покупал и разливал сорокаградусную, судя по гримасам застольщиков – она, мерзавка, но какой-то знакомый густой аромат и сладость ласкает горло. Вкус явно не водки, если и есть там спирт, то он скорей всего виноградный… Так бывает, в каких-то фрагментах ловишь себя на повторах: «Уже было! Когда? Вспомнил, было! Изабелла, в первую ночь по

приезду!». Тут же уверенно понял то, чего и не знал: «Ее так зовут. Изабелла!» – и еще пробралось с холодком от безумия мысли: «Имя это, или она и есть изабелла? Ну, это ты уже пьянеешь, дружок! Бредишь!» – а сам ищу подтверждений этой бредовой догадке.

Ее лицо – рельеф лунного света в полумраке отдела, глаза – два бездонных провала, и я соскальзываю в них по дугам бровей и пытаюсь схватиться хоть за краешек рассуждений: «Это просто игра света и тьмы… тьмы и света», – но уже не разберу, то ли голова пошла кругом, то ли весь мир закружился, как в омуте, и не ясно: тону, захлебнулся, вдохнув легкий дурман из стакана? Только последней агонией разум: «Странно, ее глаза такие темные-темные, как выпавшие ягоды из грозди, отмытые теплым летним дождем от дымки налета. Я вижу в них вкус! Тягучий, сладкий сок…».

Эти глаза вбирают меня целиком, и кажется, что я из них никогда не вернусь, но тут на звон посуды и гул стола, закрывая весь проем двери, тенью грозовой тучи появляется огромный мужик. Застольный треп как срезало. Оглушив, тишина всех вернула на землю, а взвизгнувший под его тяжестью хлипкий стул подействовал как нашатырь. Сергеич молча придвинул к нему стакан, налил до краев. Тот приговорил его в двух звучных глотках, неубедительно коротко выдохнул, больше по привычке, чем по необходимости. Замер, погрузив взгляд сквозь нас в никуда, но все почувствовали тяжесть этого взгляда, словно каждому опустил на плечи по свинцовому поясу из водолазного снаряжения. Была отмерена еще такая же доза, после которой, видать, ему полегчало. Осунулся, плечи поникли. Шеф и Костя отработанно подхватили его под руки и с трудом сопроводили на веранду, в темноте которой на сваленных в углу палатках и спальниках я не заметил спящих водолазов, когда пришел.

– Это Володя. Старший. Его меньше, чем дуплет, не берет, – шепотом поведал Женька. Тут я обнаружил, что моя смутительница исчезла из-за стола. Поинтересовался, что за подруга сидела напротив?

– А черт ее знает. Наверное, Андрюха, как всегда, подцепил, шатаясь по городищу. Сильна, пьет наравне со всеми, и хоть бы хны. Слушай, наливай! Как представлю, что они там в Новороссийске делали, так трезвею влет! И вот уже три дня в таком режиме.

Мне мой режим тоже неясен, пил непонятно что, протрезвел или вовсе не пьянел? Пробую разобраться, чокнувшись с Женькой, и пью как первую, маленькими глотками. Но чуть не задохнулся – чистая водка, да кажется крепче обычной! Внутри полыхнуло, как положено, и поползло к голове с дикой догадкой: «Это оттого, что ее нет за столом! Оттого, что не вижу ее виноградно-черных глаз! Хм. Чушь, конечно!» – но наливаю быстренько вдогонку, подношу к губам, и в этот момент вижу ее в дверях, лоб, словно от боли, морщинит, из-под него выпучилось короткой фразой: «Ну, что ж Вы делаете, сударь! Хватит!».

Хмель, не успев толком пробраться к голове, сгинул, как не бывало, а из стакана в нос потянуло все тем же липким ягодным духом, и он уже бесит: «Зачем только пил?! Да кто она такая?! В конце концов, кто дал ей право мной командовать, сколько пить, а тем более – не пьянеть?!». Наверное, ужасно смешон своей мальчишеской вспыльчивостью, но ничего не могу с собой поделать. Играю, ей назло, в пьяную развязность. Избегая глаз, с пошловатым откровением разглядываю с головы до ног, но чем глубже вдаюсь в детали, тем больше увязаю в их нелепостях.

Такое ощущение, будто она натянула на себя все, что подвернулось под руку, и это все чужое. Джемпер с чужого плеча, джинсы с чужого бедра. Первый непомерно велик, вторые настолько малы, что непонятно, как она умудрилась втереться в их потертую бледность, до смешного коротки и заканчиваются как-то несуразно на икрах. Ее пропорции изысканно-уравновешенны, там нечего скрывать и незачем подчеркивать. Можно надеть все, что угодно, но воображение будет рисовать почему-то роскошное платье, глубокий вырез, вычерченную талию, а вместо ее аляповатых спортивных тапок – туфли на высоком каблуке. Да она и стоит, будто в них, на цыпочках! В ней все спутано, и вся она ошибка. Легкая, монашеская отстра-

ненность, размеренно-пылкое дыхание грудью куртизанки, и на тебе: мальчишеские джинсы, шерстяная хламида!

Увязая взглядом в плетение нитей цвета ультрамарина, так созвучного ее глазам, не в силах удержать мысли на их поверхности, не вижу, но понимаю – под кофтой ничего больше нет! Она злодейски выставляет напоказ совершенство форм, и опять ловлю себя на повторе, и всплывает, как из глубины, сон в первую ночь по приезду: «Тонем. Я знаю. Какая теперь уж разница, теперь все едино…».

Чертовщина какая-то… Дьявольщина! Так и подмывает подойти и содрать с нее этот балахон, чтобы убедиться – бусины сосков цвета свернувшейся крови? С опаской поднимаю взгляд к ее глазам, ожидая увидеть в них смех над моим пошловатым спектаклем, но опять озадачила, смотрит на меня, виновато оправдываясь, явно сама стесняется своего вида: «Простите, сударь, так получилось… А все из-за Вас, из-за Вас…».

Злость моя куда-то улетучилась, стиснула жалость к ней и на себя негодование: «Э-э, старина, как же все это глупо и несолидно! Не пристало морскому офицеру, бывалому волку по женской части, так расслабляться!» – и отчего-то хочется верить в ее монолог, то ли и вправду звучащих, то ли придуманных слов, но так же мерещится во всем этом розыгрыш и подвох. Чувствую, что начинаю бояться ее глаз, в которых читаю каждое слово: «А ведь признайся, Капитан, еще ни одна особа женского пола так над тобой не куражилась!».

Опять разливают, что-то провозглашают, пьют вразброд, включают магнитофон, зашаркали в танце. Я полощу свой взгляд в стакане с водкой, размышляя: «А стоит ли?.. Стоит ли пить, не пьянея?».

Выпил, не выпил? Не пойму. Водка, вино или просто сок? Сам, или опять она нашептала? И ни обиды, ни злости, а так, констатация фактов: «Все ты надумал, сударь, чушь собачья! Пигалица какая-то залетная! Глазки строит. Порода такая – хороша и пользуется этим направо и налево. Так и есть, вон повисла на пьяном Андрюше, а он не столько танцует с ней, сколько лапает. Еще и поглядывает в мою сторону лукаво, вот же стерва! А ты, дурачок, было повелся, размечтался, а она вот влипла своими… Тьфу! Он аж дуреет, паразит, и что-то ей шепчет слюняво на ушко! Тебе-то что? Что за досада? Ревнуешь, что ли? Какая ревность?! Что за пионерские страсти, третий десяток на излете, старый козел! Ан, нет! Ревнуешь, дружочек. Как пацан ревнуешь…».



..Три входа, как в сказке: ..каменный, со стороны как раз нашего отдела — узкий проход в стене, увенчанный аркой..

/Херсонес, 1986/

Сам себя знаю, пора уносить ноги от греха подальше. Командую: «Смирно, Капитан! Сигарету в зубы – и на выход. Спокойно! Это «динамо»! Увидел, торчащие сиськи, попку в обтянутых джинсах, глазки тебе построили, и клюнул с голодухи! Девочка просто в ударе. Девочка крутит хвостом. Давай, давай пробирайся к выходу, улыбнись, брось им что-нибудь,

латая продырявленное самолюбие, типа: «Полный вперед, Андрючио! Так держать!» – Ох, уж мне этот флотский юмор! Да сойдет…».

Магнитофон затихает за спиной, веранда встречает потусторонним храпом спящих водолазов. Глупо, конечно, им завидовать, но хочется вот так же, как они, забыться, уйти в никуда… Там все просто – темно, а может быть, светло и просто, а здесь один зуд да агония, а я как-то ни там и ни здесь, завис между, потерялся, как тот летучий голландец, в поисках своей бухты. Вздыхаю: «Здесь тоже не мой причал», – и отваливаю восвояси. Прикрыв дверь отдела, отсекаю себя от всех, и стою, не понимая, – вышел или вошел куда-то?

Темно, за кончиком носа ни зги и какое-то литое беззвучие – ни сверчка, ни шороха, ни ночной прохлады, только духота гнетет запахами. Эта ночь меня передразнивает в унисон, и все равно куда идти – хоть вправо, хоть влево, а она поддакивает: «Все едино, тьма беспросветная!». Так хочется остыть и от невесть с чего взявшейся ревности, и глупой досады, а воздух еще поддает жару своим раскаленным дыханием. Не отпускает сладость, комом под языком, и запахи дарят тот же вкус, только с прелостью и гнилью уже падших на землю ягод. Вспоминаются слова Сергеича: «…в это лето в том конце двора, как никогда уродилась изабелла».

Пытаюсь и себя, и эту ночь взять в руки, вытягиваю их перед собой, как Вий, чтобы нащупать выход из этой мрачной безысходности. Знаю, он есть, тут, в нескольких шагах, за горбатой старой лозой проход в монастырский сад – неухоженный, заброшенный оазис, можжевеловые кущи. Он прячется в самом центре музея от непрошенных зевак за фасадом средневекового отдела. И ведут туда три входа, как в сказке: один – деревянный, калитка в штакетнике с табличкой: «Вход воспрещен!», другой – железный, небольшие кованые ворота, вросшие в землю и чуть приоткрытые к морю, третий – каменный, со стороны как раз нашего отдела, узкий проход в стене, увенчанный аркой. Может быть, это вход станет выходом для меня? Верится, что сад успокоит и приютит, как в первую ночь по приезду.

Вздрагиваю – теплые ладони виноградных листьев тронули лицо. Нащупал волокнистую кору лозы, здесь уже рукой подать, и пальцы уткнулись в сыпучий известняк на торцах входа: «Входа или выхода?». Глаза еще не привыкли, но что-то смутно угадывается впереди, будто всполохи на затушеванном мятом листе, а старый виноградник еще дышит в затылок и рот предательски хранит вкус изабеллы. Вспомнил, что где-то по левую руку кусты крыжовника! Подумал, что в его колючих лапах – мое спасение. Остается только найти пару незрелых, до оскомины кислых ягод и разжевать их, с хрустом убивая муторность навязчивой сладости.

«Только бы найти! Найти…» – или их уже обглодали, или колючие ветви не отдают, исцарапывая мне пальцы. Мысль, как из забытой детской игры: «Загадай желание, если найдешь – сбудется».

Желание. Его и загадывать не нужно, оно во мне. Оно гложет меня и рвет на части. Но! То, что оно есть – это одно, а вот самому себе признаться в этом – совсем другое.

Ба! Сразу три! Легли в ладонь, крупные, шершавые, с лохматыми кисточками. Твердые – видать, зеленые. Внутри меня все сжалось и замерло: «Сбудется?» – но сам побаиваюсь предсказаний: «Вот съешь и по своим гримасам определи, как оно сбудется». Рот вяжет, мнется лицо – кислятина до смеха и слез: «Вот так! Нагадал?».

Можно избавиться от вкуса, можно от запаха, от слуха, от зрения, но как избавиться от этого – то ли названия винограда, то ли имени, раздающегося во мне заклинанием – Изабелла?! И как бы сам от себя не убегал, не прятался, все равно – Изабелла! Начиналось маленьким безумием, а явно переходит в тяжелую болезнь, прогрессирует с каждой минутой, и до кризиса один шаг, когда уже не имеет значения, чем все закончится, лишь бы было! Еще больше себя накручиваю, странные: точки, детали, мысли, сны – соединяются в единую линию. Вот и сейчас промелькнула мысль, разыскать Надюхину раскладушку, развалиться, покурить, вздремнуть… Так там мерещится продолжение сна! Да еще и с новым героем. Живо себе представ-

ляю: в каюту вплывает гигант Володя и начинает выпихивать из нее наши сплетенные страстью и предсмертной судорогой тела: «Вот это продолженьице! Ну уж нет!».

Глаза постепенно привыкают к ночной каше, но передо мной стоит черной стеной непролазная буйность заброшенного сада, и помню – там, в его глубине, есть скамейка, и если она не занята какой-нибудь уединившейся парочкой, то лучше мне ничего не найти. Здесь и в лунную ночь черт голову сломит, а в такую темень пробраться без фонаря – авантюра, но вспоминаю про спички в кармане. Запаливая по нескольку сразу, и в их вспышках раздвигая тяжелые ветки, пробираюсь рывками, кивая и кланяясь корявым ветвям. Коробка быстро пустеет, пару раз обжег пальцы и вспомнил про похождения Лёни Шнейдэра на чердаке, он же тоже жег спички… От этой аналогии возникает желание повернуть обратно, но неясно, чем это «обратно» лучше? Приободрила нащупанная под ногами узенькая аллея, разделяющая сад пополам – здесь уже рядом. Делаю последний рывок, и вот впереди чуть угадывается зеброй потертых досок заветная скамья.

Сижу, мну в пальцах сигарету, подсчитываю пульс раскатами крови в висках – кажется, она так разрезвилась, что слышится эхом вдали. В ослепленных глазах на фиолетовом поле прыгают рыжие зайчики. Нащупав оставшиеся спички, подсчитал – ровно три! Совпадение раздражает: «Ох, уж мне эти три ягоды – три спички. Вот разом их спалить, к чертовой матери!».

Крепко сжимая, нервно бью по истертой коробке. С третьего чирка они надрываются пламенем, а огонь неожиданно взмывает куда-то ввысь, раскалывает ночной купол над головой трещиной молнии! Высвечивается все вокруг до листочка, и от такого неожиданного эффекта подскакиваю, роняя сигарету. Надо бы сообразить, что это всего-навсего совпадение и этого следовало ожидать от такой духоты – гроза надвигалась, но то, что вижу в неоновом свете, лишает всяких суждений, сковывает мышцы и тысячи иголочек вонзаются в кончики пальцев. Следом за молнией в затылок накатывает гром. В его грохоте и треске сладость прикушенного языка, когда болью снимаешь боль! И не понял, кто выдохнул, я или небо: «Изабелла!».

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.